

Юрий
Васильев

Юрий Визбор

Завтрак с видом на Эльбрус

1983

Визбор Ю. И.

Завтрак с видом на Эльбрус / Ю. И. Визбор — 1983

Повесть о настоящем мужчине, не разменивающим по мелочам высокое чувство. Главный герой, журналист и тренер по горным лыжам уезжает в горы. И встречает там Елену...

Юрий Визбор

Завтрак с видом на Эльбрус

Пятница простиралась до самого горизонта. За пятницей следовала вся остальная жизнь за вычетом предварительно прожитых сорока лет. Эта сумма не очень бодрила. Второй развод. Мама, когда-то совершенно потрясенная ремонтом квартиры, долгое время после этого говорила: «Это было до ремонта» или «Это было уже после ремонта. Теперь все, что я проживу дальше, будет обозначаться словами „это уже было после второго развода“». В кабинете у Короля было всегда темновато, поэтому здесь вечно горела старомодная настольная лампа из черного эбонита, под которой в стеклянной ребристой пепельнице дымилась отложенная им сигарета. Король читал мое заявление, а я рассматривал тонкие фиолетовые туманы, поднимавшиеся от сигареты прямо к огню лампы. Вообще-то Король не очень любил меня. Началось это давным-давно, когда он написал свою первую брошюру, которую в процессе писания торжественно называл „повестушка“. „Повестушку одну кропаю, братцы, за-шил-ся!“ Обнародовал он свое произведение уже в изданном виде. Брошюра называлась не то „Орлята, смелые ребята“, не то наоборот, в смысле „Ребята, юные орлята“. Как-то после летучки он вытащил из своего портфеля целую кипу огненно-красных брошюр, где над орлятами гордо летела его собственная фамилия: по огненному в черных дымах небу было написано „А. Сумароков“. Заглядывая в титульные листы, на которых уже заранее дома были им написаны разные добрые слова, он одарил своим новорожденным всех, не обойдя никого. Подарил брошюру даже машинистке Марине – стилиге и дикой, совершенно фантастической врунихе. Когда она говорила: „Здравствуйте, меня зовут Марина“, можно было ничуть не сомневаться, что одно из четырех слов было враньем.

Конечно, мне не следовало смеяться над своим заведующим отделом, журналист может все простить, кроме намека на бездарность. Черт меня дернул тогда сказать при всех: «Переплет неважнецкий». «Да, – встрепнулся Король, – я добивался глянцевого картона, но все это делается у них на инобазе. Безобразие! Такого пустяка не могут освоить!» «Безобразие, – согласился я, – большие произведения должны сохраняться на века!»

Король понял. Я уж и не рад был, что ляпнул, потом и крутился, даже домой ему звонил, отмечая несомненные достоинства «повести», но дело было сделано. Король мне этого не простил. Впрочем, когда в одной из газет появилась хвалебная рецензия на его брошюру, он положил эту вырезку под стекло своего стола и часто цитировал ее, вызываясь глядя в мою сторону. Юмор в нем, хоть и дремучий, проживал.

Когда я подал заявление об уходе, Король дважды довольно тупо прочитал его, потом снял очки и большой мясистой ладонью помял глаза, как бы раздумывая, что выбрать из вихря вариантов, пронесившихся в голове. Из этого вихря он выбирал обычно почему-то самые банальные варианты.

– Что я могу сказать? – начал он, и я знал, что ему сказать и вправду совершенно нечего. – Это большое легкомыслие. Больше ничего. Ты можешь сказать что-нибудь более внятное, кроме «по собственному желанию»?

Ну не мог же я объяснить ему всех причин... Это и вправду было легкомыслием.

– Мне надоело, – ответил я, – быть пересказчиком событий. Я хочу сам эти события делать.

– Чем ты будешь заниматься?

– Сменю профессию, Король.

– На кого?

– На кому – сказал я, – так по-русски будет правильной.
– Ну ладно, на какую профессию?
– Стану озером. Буду лежать и отражать облака.
– Может, тебе нужно немного передохнуть? Давай мы покрутимся без тебя. Могу попробовать достать путевку через наш Союз в Варну.
– Я и сам могу достать – такую путевку через наш с тобой Союз.
– Ну так что же?
– Я все решил. Мне сорок лет, жизнь к излету.
– Тебе вот именно что сорок лет! – возмущенно сказал Король, но возмущившись этим фактом, он вывода из него так и не сделал.

Я знал, что этот разговор – последний. Шеф был в Америке, а его зам Шиловский был настолько стар и равнодушен ко всему и не интересовался ничем, кроме методов лечения каменно-почечной болезни, что мог бы утвердить мне зарплату большую, чем у него самого. Шеф – другое дело. Он был из наших. Да и в редакции не решалось ни одного важного дела, чтобы шеф, как бы мимоходом, не поставил бы меня в известность или как бы попутно не выяснил бы моего мнения, которое он вскоре выдаст за свое. А может быть, наши мнения просто совпадали. Не знаю. Да и неважно теперь все это.

Я твердо знал, что, чего бы это мне ни стоило, я возьму лыжи, уеду в горы без всяких телефонных звонков, писем, обрызганных слезами, и рыданий в подъездах. В Москве шли февральские снега. Еще не успев добраться до поверхности Садового кольца, они темнели на спуске и ложились под радиаторы торпедным катером, которые плыли плотной толпой, поднимая по обеим сторонам волны грязно-коричневой смеси воды и снега. Работали стеклоочистители. Водители напряженно смотрели вперед. Забрызгивало задние стекла. Прыгали огни светофоров. Низкое темное небо висело над салатowymi стадами такси. Чей-то добрый голос мягко просил на пол-Москвы: «56-66, возьмите вправо». От снегов было темно по-осеннему, и днем во многих домах горели огни... В редакции пахло листьями со свежей версткой, старым кофейником нашим и бутербродами с сыром.

Король сказал:

– Старик, ну в случае чего... если материально... я тебя буду печатать всегда.

Мы с ним работали восемь лет. Все-таки восемь лет куда из жизни не спишешь...

– В случае чего, если материально, я приемщиком бутылок пойду. Говорят, у них роскошная жизнь.

– Нет, старик, я серьезно.

Король был старше меня на пять лет. Иногда мне мучительно хотелось подружиться с ним. Временами я его просто любил. Однажды мы с ним шли по Гамбургу. Дисциплинированные жители этого города терпеливо ждали на перекрестке зеленого свете. Улица была небольшая, и машин не было. Однако все стояли и ждали. Картина, которая заставила бы заплакать любого московского инспектора.

– Нет, – вдруг сказал Король, – я им не простил.

Он сказал это совершенно без злости. Я его хлопнул по плечу, и мы пошли дальше.

Восемь лет я отчаянно воевал с ним, клял свою судьбу, что она доставила мне такого тупого начальника. Я множество раз корил себя за то, что в свое время отказался возглавить отдел и остался спецкором. Правда, это давало мне возможность ездить, писать и кататься на лыжах. Другого мне и не нужно было. Все правильно.

Мы простились с Королем, и впервые за восемь лет он сделал попытку меня обнять, чего я совершенно не выношу.

...Я позвонил один раз, всего один раз.

– Алло, – сказала она таким мягким и ласковым голосом, с такой улыбкой и нежностью, что только от одной мысли, что все это теперь адресовано не мне, я помолодел.

– Здравствуй, это Павел.

– А-а, – деревянно откликнулась она.

– Я звоню тебе вот по какому поводу: у меня в субботу собираются все наши, и я котел бы, чтобы ты присутствовала. В противном случае я должен всем что-то объяснять.

– Ну и объясни.

– Этого мне бы и не хотелось. Есть ряд обстоятельств...

– Ты всегда был рабом обстоятельств.

О, это была ее излюбленная манера – перевести разговор из мира простой логики в сферу возвышенных, но сомнительных выводов, необязательных и ничего не значащих. Она часто, например, говорила: «Мудрый побеждает неохотно», имея в виду то ли себя под «мудрым», то ли меня, побеждавшего с охотой. Впрочем, истина никогда не интересовала ее. Ее интересовало только одно – победа, итог. В самом крайнем и либеральном случае ее интересовало ее собственное мнение об истине. К самому же предмету в его реальном значении она была совершенно равнодушна. Более того, чем больше он не походил на то, каким ему надлежало, по ее мнению, быть, тем большей неприязни он подвергался.

– Я тебя люблю, – сказал я.

– Это пройдет, – ответила она и положила трубку.

Я поплелся в свою квартиру, пустую и холодную, как тюрьма. Некоторое время я стоял в подъезде, рассматривая надпись на стене, появившуюся несколько дней назад. Толстым фло-мастером было написано: «Мне 18 лет. Боже, как страшно!»

...Ровно через двадцать четыре часа я стоял у гостиницы «Чегет» в горах Кавказа. Луна всходила из-за пика Андырчи. Перевалившиеся через гребень облака, освещенные луной, были белы, как приведения. Над перевалом Чипер-Азау то и дело открывался из-за облаков фонарь Венеры, окруженный светлым ореолом. На небольшой высоте над горами быстро и молча прошел искусственный спутник. Ветер бродил по верхушкам сосен, шумела река. В при-роде был полный порядок. Она никому не изменяла, но и никого не любила.

Для того чтобы увидеть звезды, с каждым годом все дальше и дальше надо уезжать от дома...

Иногда мне представлялось – я это ощущал с поразительной ясностью, – что уехало мое поколение на самой последней ножке воинского эшелона. Состав – смешанный. Перед парово-зом ФД на открытой платформе с песком – зенитные орудия. Теплушки. Пассажирские вагоны с деревянными ступеньками. Странные железные заслонки у окна – наверно, для того, чтобы пассажирам, кто из окон выглядывает, ветер дорожный и дым паровозный в глаза не попадали. Под потолком вагона – свеча за стеклышком, лавки деревянные блестят, шинелями отполиро-ванные. Накурено. Солдаты, бабы, гармошки, бинты, карманы гимнастеров булавкой заколоты. Огонь добывается, как при Иване Калите кресалом по куску булыжника. Кипяток на станциях. Танки под брезентом. В вагонах пели на мотив «Роза мунде»:

В дорогу, в дорогу, осталось нам немного
Носить свои петлички, погоны и лычки.
Ну что же, ну что же, кто пожил в нашей коже,
Тот не захочет снова надеть ее опять.

Последний вагон в эшелоне – детский. Деревянные кинжалы. Звезды Героев Советского Союза, вырезанные из жестянок американской тушенки. Довоенные учебники в офицерских планшетах. В гнезда для карандашей ввиду их полного отсутствия вставлены тополиные пру-тики. В нашем вагоне пели:

Старушка на спеша
Дорогу перешла.
Ее остановил милиционер...

Мы держали в тонких руках жидкие школьные винегреты и смотрели на уходящую дорогу. За нашим последним вагоном клубилась пыль – то снеговая, то июльская, рельсы летели назад. Наши армии, наши личные армии шли на запад, и по вечерам мы подбирали горячие пыжи, падавшие на улицы, озаряемые вспышками салютов. В кинотеатрах шла «Серегины Солнечной долины», и английские эсминцы под звуки «Типперэри» входили в Североморск, который тогда еще назывался Ваенга. Наш поезд летел к неведомому пока еще дню победы, к счастливой-пресчастливой жизни после этого дня.

Господи, ну прошло же это, прошло! Почему же все это так крепко сидит во мне? Почему, уезжая из Москвы, ну хотя бы на электричке – на север, на запад или юг, я чувствую, что через сорок километров пути наш электропоезд попадает на территорию «тысячелетнего рейха»? Почему с нескрываемым сентиментальным умилением и чуть ли не со слезами я смотрю на школьников, стоящих в почетном карауле у вечного огня? Каким дорогим мне кажется это! Как я рад думать, что они хоть немножко соединены во времени с нами, что нация наша продолжится, не забыв ничего – ни хорошего, ни плохого – из того, что было с нами?

...Впервые я попал в горы через семь лет после окончания войны. В горах не было ни отелей, ни дорог, ни канатных дорог, ни фирмы «Интурист». Последние иностранцы, посетившие Кавказ, были егеря знаменитой дивизии «Эдельвейс», герои сражений в Норвегии и на Кипре, альпинисты и горнолыжники высокой выучки, прекрасно научившиеся убивать в горах. Горы не скрывают ничего. На перевалах и гребнях Кавказа они ничего не прятали от нас: ни сгнивших кухонь «Мета», ни автоматов «Шмайсер», ни солдатских черепов в ржавых касках. Написано в песне: «...ведь это наши горы, они помогут нам!» Да, это были наши горы, любимые и желанные, белые и синие. Они были Родиной, частью нашего дома, его верхним этажом, крышей, куда мы поднимались, чтобы постоять на свежем ветру, осмотреть просторы и увидеть с высоты то, что трудно увидеть с равнины, – синие гребни на горизонте, море за холмами, себя на крутизне земного шара.

Но помощи от них не ожидалось. Они равнодушно подставляли бока своих изумрудных альпийских лугов, гребни и вершины, перевалы и снежники – равно обоим воюющим сторонам. Они равно мели метелями обе армии, они равно сушили их дымящиеся шинели у костров. Нет, они не помогали нам. Мы помогали им.

Я шел от гостиницы «Чегет» по белой, лунной дороге, пересекая тонкие тени высоких сосен. Мимо парами и группами проходили туристы и лыжники, приехавшие сюда отдыхать. Для многих из них горы были просто зимним курортом. Как Сочи. Местом, где стоят отели, крутятся канатные дороги, снуют автобусы с надписью «Интурист». Ни разу не побывав в горах, моя бывшая жена уверенно говорила: «Горы? Горы – это то место, где изменяют женам, пьют плохую водку и ломают ноги». Ну что ж, в этом цинизме была своя правда. Но в этих горах я не вошел.

На следующий день я получил свое отделение. Я сменил профессию. Горными лыжами я занимался давно. Теперь я стал профессиональным тренером.

Наверно, только после тридцати лет я стал проникаться мыслью, что самое страшное в жизни – это потерянное время. Иногда я буквально физически чувствовал, как сквозь меня течет поток совершенно пустого, ничем не заполненного времени. Это – терзало меня. Я чувствовал себя водоносом, несущим воду в пустыне. Ведро течет, и драгоценные капли отмечают мой путь, мгновенно испаряясь на горячих камнях. И самому мне эта вода не впрок, и напоить некого. Я смутно подозревал, что не может это ведро быть бесконечным, что вон там, за

выжженными солнцем плоскогорьями, я как раз и почувствую жажду. Но ведро течет, и нет никаких сил остановить потерю.

Лариса имела и на этот счет свои соображения. Ее тревожило и угнетало уходящее время. Она с яростью исследователя и фанатика отмечала крохотные следы времени на своем лице, на своем теле. Ее приводила в ярость сама мысль о том, что когда-то пройдет красота, легкость, свежесть. Как-то я ей сказал: «Брось, все имеет свои основы во времени. Каждый возраст прекрасен. А красота – что с нее? Красота – не более чем система распределения жировых тканей под кожей». Она, конечно, сочла, что я оскорбил ее, и мы поругались. Никакие ветры не могли сбить мою красавицу с верного курса. «Паша, нужно жить так, будто сегодняшний день – последний день твоей жизни!» Да-да, это очень умно, думал я. Я даже пытался следовать этой доктрине. Только потом я понял, сто такой образ жизни приводил к катастрофической, стопроцентной потере времени. Этот способ общеизвестен. Он называется – суета.

Нет, надо жить так, будто у тебя впереди вечность. Надо затевать великие, долговременные дела. Ничтожество суеты, материальных приобретений и потерь, обсуждений того, что существует независимо от обсуждений, леньность головного мозга, отвыкшего от интеллектуальной гимнастики, – все это удлиняет тяжесть жизни, растягивает ее унылую протяженность. Жизнь легка у тем, кто живет тяжестью больших начинаний.

Лиля Розонова, умирая в больнице, написала:

Как медленно течет мой день,
Как быстро жизнь моя несется...

– Любовью, а главное, болтовней о любви человечество занимается потому, что ему нечего делать.

Так сказал мне Барабаш уже во вторую минуту нашего знакомства.

– И занимается этим, заметьте, Павел Александрович, та часть человечества, которая не способна сообразить, что красота восторгающих ее закатов – всего лишь небольшое математическое уравнение, составными величинами в которое входят угол склонения солнца над горизонтом, количество пылинок на один кубический сантиметр атмосферы, степень нагрева поверхности земли, дымка, рефракция и ее явления. Ах, закат, ах, восход, ах, небо, ах, любовь! Истратили на все эти глупости духовные силы огромной мощности. Чего достигли? Ничего. Физики и лирики? Тоже глупость. Возьмем ли мы с собой в космос ветку сирени? Чепуха. Кому вообще в голову могла прийти такая мысль? В мире существуют прочные константы физики, химии, биологии, геохимии, космологии, наконец, математики. Когда мы не можем объяснить те или иные явления, мы прибегаем к поэзии. В натуре человека есть свойство делать вид, что он все знает. И как только мы встречали нечто неизвестное, необъяснимое, так тут же прибегали поэты со своими бессмысленными словами и начинали нам объяснять физический мир. Ученый из неясного делает ясное. Поэт и из ясного умудряется сделать неясное. И потом – эта совершенно безответственная метафорическая связь слов, ничего не означающая. «Лужок, как изумруд». «Изумруд, как весенний лужок». Так что же, как кто? Неясно. Пушкин в этом смысле хоть и поэт был, но пытался наладить прямые связи. «Прозрачный лес вдаль чернеет – он и вправду просто чернеет и все. Ничего больше. „И речка подо льдом блестит“. Не как шелк или парча, а просто блестит. Заметили?

Барабаш со злостью ввертывал винты в только что просверленные дрелью отверстия на грузовой площадке лыжи, Его круглая лысина уже успела по-детски порозоветь от солнца. Он ходил без шапочки, очевидно считая, что раз приехал в горы, то должен на сто процентов использовать их физические качества, которые он наверняка смог бы выразить «небольшим математическим уравнением»: разреженность воздуха, его чистота, интенсивность ультрафиолетового излучения, бессоляную воду. Я еще не знал, как он относится к такой особенности

гор, как обилие молодых девушек. Под моим строгим взглядом он нажимал худой, жилистой рукой на отвертку, и злость его была ощутима почти физически.

– То же самое и с любовью, – продолжал он, – напридумывали бог знает что! Обыкновенная статистическая вариация встреча двух индивидуумов – возведена в такие недостижимые сферы, что только диву даешься. Ну разве мало-мальски серьезный человек может утверждать, что в восемнадцать лет он встретил одну-единственную на всю жизнь из всего населения земного шара? И встретил ее тогда, когда в этом появилась естественная биологическая потребность? Что за чушь? Я не поклонник западных брачных бюро, но в них есть здоровый и полезный цинизм. Есть показатели группы крови, резус-фактор, генетические особенности, склонности характера – это в конце концов и определяет будущую жизнь супругов. Я, естественно, опускаю материальную сторону дела.

– Дайте-ка я доверну, – сказал я, взял у него отвертку и навалился на винт. Барабаш мне становился неприятен.

– Вы согласны со мной? – не унимался он.

Я пожал плечами.

– Я уважаю чужие взгляды даже в том случае если их не разделяю. Разумеется, если дело идет об истинных убеждениях.

– Значит, вы молчите?

– Можно сказать и так. Но заметьте – я не считаю нужным обращать кого-нибудь в свою веру. Я – не миссионер.

– Почему?

– Потому что вера – это интимное качество души. Я понимаю, что вас воротит от слова «душа» – ее ведь невозможно выразить с помощью «небольшого математического уравнения».

Барабаш с возрастающим интересом смотрел на меня. Внезапно я понял: он из тех людей, которые неслезанно радуются, найдя достойного оппонента, ибо нескончаемая цель жизни подобных типов – спор, спор на любую тему, любыми средствами, в любом состоянии. Цель – спор. Итог неважен. Барабаш, улыбаясь, закурил.

– Дайте-ка другую пару лыж, – сказал я. У меня не было желания сотрясать и дальше воздух бессмысленными рассуждениями.

– И все же – сказал Барабаш – что вы думаете о том что я сказал?

– Насчет любви? По-моему, это чепуха.

– Но, говоря так, вы навязываете мне свое мнение, вы – антимиссионер?

– Я просто отвечаю на ваш вопрос. Не более. Дайте ботинки.

Он подал ботинки, и я стал размечать место для постановки крепления. «Да, – подумал я, – с этим теоретиком у меня будет немало вопросов при обучении его». Барабаш понял, что я не хочу дальше продолжать этот спор, но не сдавался.

– Я не понимаю, – почти выкрикнул он, – вы все твердите «любовь, любовь», будто в этих словах заключен какой-то магический смысл! Любовь – бред. Пустота. Обозначение нуля.

Он мог сейчас заявить, что любовь – это свойство тепловозов. Он мог сейчас заявить все что угодно, потому что спор кончался, и Барабаш уже задыхался без словесной борьбы.

– Сергей Николаевич, – сказал я, – не тратьте на меня душевный пыл. Где дрель?

Он подал дрель. Обиделся. Любопытно, кто его бросил? Не похож ли я на него? Я посмотрел – был он жилист, крепок, подвижен, лыс. Наверняка бегают по утрам, ходит в бассейн. Однокомнатная кооперативная квартира. Стеллаж с книгами. Тахта. Дешевый телевизор. Портрет Хемингуэя. Нет, этот Хемингуэя не повесит. Скорее – папа Эйнштейн. Таблетки от бессонницы. Лаборантка, которая приходит раз в неделю, без надежды на что-нибудь постоянное. Он любит спать один и всегда отправляет ее домой ночью. Она едет в последнем поезде метро, усталая, несчастная и, прислонясь к стеклу раздвижных дверей, плачет. Проповедует ли

он ей свои великие истины относительно любви? Наверняка. Огонь электрокамина мил тому, кто не грелся у костра.

Господи, зачем я так? Он лучше. Он просто несчастен. Похож ли я на него? Да, похож. Но я не проповедник. В этом мое преимущество. Мне захотелось сказать ему что-нибудь хорошее. Я взял головку крепления.

– Сергей Николаевич, правда, оригинальная конструкция? Вы, как инженер, должны оценить.

Барабаш недовольно повертел в руках головку «Маркер».

– Оцениваю на три с плюсом. А вообще, я не инженер. Я – теоретик.

Обиделся.

На этом и закончился теоретический спор о любви двух неудачников. Под бетонным потолком горели голые лампочки. Лыжи стояли в пирамидах, как винтовки. Мы работали в холодном лыжехранилище. Что делают сейчас наши женщины? С кем они? Где?

Дрель уныло визжала, проходя сквозь лыжу, минуя слои металла, эпоксидной смолы, дерева. Я – тренер на турбазе. Ужасно.

Как ни странно, но я испытывал чувство какого-то неуловимого удовольствия, раздумывая о своих горестях. Сознание покинутости, одиночества настолько глубоко сидело во мне, что было просто стыдно говорить с людьми. Мне казалось, что они очень ясно видят все, что происходило и произошло со мной. Во всех подробностях. Любая тема была для меня неприятна. Любые слова задевали. Я относил к себе даже дорожные знаки. Знак «только прямо и налево» тонко намекал на ее измену. Нечего и говорить, что знаменитый «кирпич» – «проезд запрещен» – прямо издевался надо мной.

Иногда – совершенно по-глупому – меня прорывало, как плотину, и я начинал излагать малознакомым людям такие подробности своей жизни и недавней любви, что ужасался сам.

Но, в общем, я держался. Я старался контролировать свои слова, движения, жесты, взгляды, смех. Я курил так, будто у меня впереди были две жизни. Я отчаянно боролся с совершенно бессердечной, безжалостной стихией. Постоянным, не знающим никаких перерывов напряжением я, как плотина, держал напор этой стихии, имя которой – я сам. Меньше всего мне импонировал дырявый плащ неудачника, однако я почему-то не спешил сбрасывать его со своих плеч. В его мрачной и неизвестной мне доселе тяжести был какой-то интерес, что ли...

Барабаш был первым, с кем я познакомился из своего отделения. На следующее утро я увидел и остальных своих новичков. После полубессонной ночи в самолете, суеты в аэропорту Минводы, после двухсоткилометровой дороги по равнине и Баксанскому ущелью, после первого в их жизни воздуха высокогорья все они были дряблые, как осенние мухи. Они щурились от безумного белого света, заливавшего окна комнаты. Я пожимал их вялые руки, называя свою фамилию. Я хотел получить группу «катальщиков», лыжников, которые хоть раз были в горах, но мне дали новичков. Ну, я не обиделся.

Мои новички сверхвнимательно слушали меня, будто боялись пропустить какое-то магическое слово, которое даст им ключ к быстрому и ловкому катанию на горных лыжах. Я говорил, вставляя в свою речь всякие умные слова – «философия движения», «мышечная радость». Наверняка, для них эти формулы не имели никакого смысла. На самом же деле я не гарцевал перед строем, а наоборот – пытался как можно проще рассказать своим новичкам, что горные лыжи как занятие являются одним из наиболее высокоорганизованных двигательных комплексов.

Всежитое человеком – его скелетом, его механикой, его мускулами, двигательные рефлексы, закрепленные за миллионы лет, – все это протестует против основных движений горнолыжника. Если легкая атлетика является продолжением естественных движений, то горные лыжи – конструирование новой системы перемещения человека в ограниченном весьма

определенными требованиями пространству. Горные лыжи пополняли механику человека способностью вырабатывать новые двигательные рефлексy. Сегодня я лечу по бугристому снежному склону и мои ноги, бедра, корпус, руки проделывают движения в быстрой и ловкой последовательности. И мне кажется странным, что этот комплекс техники никогда раньше никому не приходил в голову. Я много раз перечитывал рассказ Э. Хемингуэя. «Кросс на снегу», в котором он описывает два древних горнолыжных поворота – телемарк и христианию. Сегодня эта техника – понятая высоко рука с палкой, выставленная далеко вперед на согнутом колене нижняя по склону лыжа – кажется смешной, да и уж вряд ли кто-нибудь сможет сегодня показать классический телемарк. Австрийская техника параллельного ведения лыж, выработанная в послевоенные годы, стала надежным фундаментом спуска с гор любой крутизны, рельефа, любого снега. Впоследствии французы изобрели свою технику.

Конечно, всего этого я не говорил своим новичкам. Пухлые, вялые, встревоженные, они сидели передо мной. Я должен осчастливить их. Они научатся преодолевать страх одного мига, когда лыжи в повороте на секунду оказываются направленными строго вниз по склону и кажется, что, не сделай вот сейчас чего-то быстрого, судорожного, и полетишь ты на этих пластмассовых штуркувинах прямо в пропасть. Но эта маленькая прямая всего лишь часть дуги-поворота. В тот день, когда мои новички ощутят это, к ним придет волнующее чувство преодоленного страха. В конце концов, – самые большие радости внутри нас. Я улыбнулся и осмотрел свое отделение.

Впереди всех сидел, естественно, мой замечательный оппонент в вопросах любви и дружбы теоретик Барабаш. Он настороженно-скептически слушал все, что я говорил, явно намечая темы, по которым вступит со мной в широкую дискуссию. Рядом с ним напряженно сидели два молодых человека, успевших сбегать на нарзанный источник, что легко определялось по двум бутылкам из-под шампанского, висевшим у каждого из них на шее на белых бечевках. Впоследствии эти молодые люди получают прозвище «реактивщики», но не столько за свою профессию, сколько за страсть к скорости, явно не соответствовавшую их технике. Сзади «реактивщиков» достойно расположились супруги А. и С. Уваровы. Кажется, они ошиблись адресом. Супруга вообще явилась при белой, в кружевах кофточке. Жалко. Такие обычно ездят отдыхать на, как они выражаются, «Кавминводы». Может, местком что-то перепутал? Разберемся. Далее, Костецкая Елена Владимировна, двадцати шести на вид лет, редактор телевидения. Я бы добавил в анкету – хороша собой. Уверенный и печальный взгляд. Далее – Куканова Галина, Внешторгбанк. Бойкий глаз, средняя курносость. Курит уже с утра. Далее – Пугачев Вячеслав Иванович, научный сотрудник. Респектабельный молодой человек, уверенные жесты. Привычно вынимает зажигалку «Ронсон», не глядя прикуривает, твердо поднося сигарету к тому месту, где должен находиться кончик огня определенной длины. Красив.

Вот и все мое войско.

После вступительной лекции задавали обычные вопросы, порой смешные. Барабаш молчал. И правильно. Тяжелая артиллерия не участвует в местных стычках. Слава Пугачев внимательнейшим образом выслушал все вопросы и ответы и, без запинки назвав меня по имени-отчеству, спросил:

– Павел Александрович, вы, как наш инструктор, можете ли дать стопроцентную гарантию, что с нами здесь ничего неприятного не случится?

Меня прямо-таки поразила эта наглость.

– На этот вопрос, – сказал я, – легче всего ответить таким образом: да, я гарантирую это, если вы будете совершенно точно выполнять мои требования. И это будет правда на 98 процентов. 2 процента – на неопределенность.

– Например?

Мне нравилось, как он говорил – твердо, уверенно.

– Например, если вы сегодня напьетесь в баре и оступитесь на ступеньке.

– Это очень тонко, – заметил Слава Пугачев, – но я хотел бы, Павел Александрович, получить ясный ответ.

– Вы боитесь сломать ногу? Руку? Голову?

– Да, я опасюсь этого. Я нахожусь в таких обстоятельствах, что не имею на это право.

Господи, да что же за обстоятельства такие у него в НИИ шинной промышленности? Его что, на парашюте, будут сбрасывать на заводы «Данлоп», чтобы выведать им секреты? На обеих девушек заявление об особых обстоятельствах произвело впечатление. Галя из Внешторгбанка даже ногу на ногу переложила.

– Я могу вам вот что сказать: несколько лет назад у меня, был новичок, который занимался на склоне в шортах, но и в танковом шлеме. Были очень жаркие дни, и он сильно мучился. Он очень боялся ударить голову. В последний день занятий он сломал ногу. Когда я вел его на акье вниз, он с удовольствием, как мне показалось, содрал с головы этот танковый шлем и выбросил его.

– Он огорчился, что защищал не то место?

Ах, как можно было с этим Славой расправиться, опираясь на неловко сказанную фразу! Но я решил не делать этого.

– Я думаю, – ответил я, – что он огорчился потому, что весь отпуск вместо того, чтобы радоваться солнцу и горам, он пытался ощутить радость оттого, что с ним пока ничего не случилось.

Я встал, чтобы закончить этот разговор. Все пошли переодеваться и получать лыжи. К моему удивлению, супруги Уваровы тоже отправились на склон. На лестнице ко мне пытался прицепиться Барабаш – относительно процентной вероятности того или иного случая, но я выскользнул из его сетей, сказал, что цифры я взял наугад и заранее согласен на любую его трактовку.

Чаще всего вспоминалась мне в эти дни моя дочь, моя маленькая Танюшка... Мы с ней садились в наш троллейбус № 23 Людей было мало. Я усаживал ее у окна, довольный тем, что она будет глазеть через стекло на улицу, и тем, что я буду ограждать ее от людей, проходящих по троллейбусу. Я испытывал острейшее желание быть рядом с этим маленьким человеком каждую секунду его жизни. Я без колебаний смог бы отдать свою жизнь за ее. Мы ехали с ней по Пушкинской, наш троллейбус катился среди машин и людей, и я был совершенно счастлив. Я видел ее желтую цыплячью шапочку, связанную ее матерью и подшитую для защиты от ветра изнутри шелком. Я видел розовый кусочек Танюшкиной щеки, соломинки ее волос, выбивавшиеся из-под шапочки. Иногда она поворачивалась ко мне и говорила: «Па, давай прочитаем!» «Давай», – отвечал я и, тонко подталкивая ребенка к чтению, говорил: «Начинай». «А-пэ-тэ-ка», – читала она и вопросительно смотрела на меня.

Правильно ли? В принципе было правильно.

Иногда ее вопросы поражали меня. Я не мог себе представить, что под этой цыплячьей шапочкой кружатся другие мысли, кроме кукольно-домашних. Однажды, проснувшись, она спросила меня: «Па, если я спрячусь под кровать, бомба меня не убьют?» Помню, я не сообразил сразу, что ей ответить, и молчал. Я был в отчаянии и ужасе, что такая мысль вообще может прийти в голову ребенку. Я сказал ей: «Мася, в твоей жизни не будет никаких бомб». – «А я умру!» «Нет, ты никогда не умрешь. Ты будешь жить очень счастливо». (Когда Танюшка и вправду умирала от седьмой пневмонии за месяц, я носил ее на руках, а она, обнимая меня за шею, с недетской силой, кричала только одно: «Папочка, я не хочу умирать» Мы едва спасли ее тогда.) – «А я буду рожать детей? Я не хочу рожать». – «Почему?» – «Это больно». – «Но ведь мама тебя родила». – «Ну ладно, только одну дочку». – «Ну хорошо, дочку так дочку». – «Па, а тех кто в море утонывает, их водолазы спасают?» – «Некоторых спасают». – «А мы с тобой некоторые?»

Да, безусловно, **мы** – некоторые. Безусловно, нас спасут водолазы. Мы не утонем в море. Мы спрячемся от бомбы под кровать. Дети не терпят трагедий. Их мозг не адаптировался к печалям. Они желают именно той жизни, для которой и создан человек, – радостной и счастливой. Они – проповедники всеобщего благополучия. В них живет чистая, ничем не запятнанная идея.

...Мы едем на троллейбусе № 23. Он останавливается у Столешникова переулка, у магазина «Меха». За окном – распятая шкура волка, черно-бурые лисы, свернувшиеся клубочком, шапки из зайцев, каракуль. Был вечер, и в витрине уже зажгли освещение. «Магазин убитых», – сказала моя дочь. Она не могла простить человечеству ни ружей, ни бомб, ни самой смерти как системы.

Потом, когда обе мои бывшие жены разлучили меня с дочерью – одна из высоких и благородных соображений («этот подлец никогда не увидит моей дочери!»), а вторая из-за нестерпимой, болезненной ревности, – я часто приезжал к ее детскому саду и, стоя в тени дерева, издали видел, как в смешном строю красных, голубых, розовых шапочек плывет и ее цыплячья шапочка, для защиты от ветра изнутри подбитая шелком. Я чувствовал, что моя дочь скучает без меня. Я это не просто знал, а чувствовал. Нас не разлучали ни километры, ни океаны, ни снега. Нас разлучали страсти, ужасающая жестокость характеров, желание сделать маленького человека, рожденного для добра, орудием злобной мести.

Никогда, до самой смерти я не смогу простить этого ни себе, ни обеим этим женщинам, моим бывшим женам, которых я любил и которые клялись мне в вечной любви.

...Посмотрев на свою дочь, я садился в метро, вагоны поезда летели среди привокзальных пакгаузов, весенней черноты насыпей, останавливались у бетонных пристаней станций, построенных в свое время по одному унылому ранжиру. Я на время успокаивался, но счастья не наблюдалось. «Мне пора на витрину, – думал я, – туда, где распят серый волк над свернутой в калачик черно-бурой лисой. В магазин убитых». Так я думал о себе, и это была правда. Я был убит. То, что осталось от меня, было уже другим человеком.

...Хруст спрессованного снега под похожими на ортопедическую обувь горнолыжными ботинками. Некрутой скользкий склон к нижней станции канатной дороги. Очередь. Цветные куртки, пуховки, анораки, свитера, штормовки. Заостренные концы лыж, чуть шевелящиеся над очередью, как пики древнего воинства. Металлические поручни турникетов, каждый день полируемых тысячами локтей. Колесо подъемника. Контролеры канатной дороги с недовольными лицами. Сегодня главный внизу – красавец Джумбер. Вот он стоит в кепочке фирмы «Саломон», в куртке фирмы «Мальборо», в стеганных брюках «Ямаха», в очках «Килли», в ботинках «Кабер», с палками «Элан», с лыжами «Россиньели СТ-Компетишон». Живой отчет о посещении Кавказских гор интуристовскими группами.

Я знаю Джумбера давно. Лет десять назад в полном тумане под вечер я спускался по южным склонам Чегета. Внезапно сквозь визжание снега под металлической окантовкой лыж я услышал крики. Откуда-то справа кричала женщина: «Помогите, помогите» Туман глушил звуки. Соображая, из чего бы мне соорудить шину и как транспортировать пострадавшую, я, перелетая через какие то бугры, помчался вправо. Выскочив к еле видимой в тумане нижней станции бугеля, я увидел, что пострадавшей уже оказывают помощь. Над ней наклонился Джумбер. Тогда ни о каких шапочках «Саломон» не было и речи; если кто-нибудь из Европы и приезжал раз в два года, так это было событие. Одним словом, Джумбер тогда одевался попроще. Сквозь туман, как на недопроявленной фотографии, я увидел его искаженное злобой лицо: на грязном ноздреватом снегу у ободранной ветрами серой фанерной будки он ломал руки какой-то туристке. Не говоря ни слова, я ударил его. Мы сцепились, причем я, как в известном анекдоте о финском солдате, явившемся в отпуск к жене, так и не успел снять лыжи. Полнотелая, как я успел заметить, туристка, всхлипывая, уехала куда-то вниз, в туман. Джум-

бер клялся меня убить памятью своего отца и еще какими-то страшными местными клятвами. Наше сражение закончилось тем, что в огромной пропасти ущелья, которая ясно ощущалась в тепловатом тумане, вдруг что-то безмерно большое тяжело вздохнуло, что-то открылось, и нарастающий гром помчался оттуда. Там, на склонах Донгуза, тысячи тонн снега внезапно оторвались, не выдержав тяжести последнего грамма, и, корежа перед собой воздух, ринулись вниз, круша все на своем пути: снег, камни. Лавина. Мы расцепились и молча разъехались в разные стороны.

Через два дня я встретил Джумбера и эту самую туристку на дороге. Они шли в обнимку под высоченными соснами Баксана. Увидев меня, Джумбер снял со своего плеча руку туристки (кстати довольно хорошенькой, но в тот момент показавшейся мне совершенно отвратительной) и грозно подошел ко мне. «Разрешите прикурить», – сказал он. Я дал ему спички. Он долго чиркал с одной стороны коробки, потом с другой. Наконец зажег. Синяк под глазом у него заживал. Мы стояли близко. Я смотрел на него и почти любовался его твердым и темным, без капельки жира под кожей лицом. «Как здоровье?» – спросил он. – «Нормально», – сказал я и взял спички. У меня не было ни охоты, ни причин опять драться с ним. «Пойдем, зайка», – сказала ему туристка. Джумбер положил руку мне на плечо. «Хорошо на лыжах катаешься» – сказал он, – умный, туда-сюда, статьи пишешь, простых дел, туда-сюда, не понимаешь. Туристка мелко засмеялась, Я снял руку Джумбера. «Прикурил и будь здоров», – сказал я и пошел.

Года кажется, через два мы даже выпили вместе, но все равно недолюбливали друг друга. Сейчас, глядя на Джумбера, я отчетливо увидел, как он постарел за эти десять лет, но все же был еще орлом, особенно при заграничных доспехах. Вяло посматривал на женские лица. «Привет, Джумбер», – сказал я, садясь в кресло подъемника. «Привет, Паша», – сказал Джумбер.

Когда впервые после долгой разлуки над твоей головой жужжат ролики на мачтах опор, когда кресло канатной дороги ровно и мягко поднимает тебя вверх, когда мимо тебя на уровне глаз скользят вниз вершины чегетских сосен, их золотые стволы, то прямые, то кряжистые, то разошедшиеся надвое, как лира, когда за этими соснами начинают проглядывать белые купола Эльбруса – начинаешь всей душой ощущать, что ты вернулся, вернулся, вернулся то ли к мечтам, то ли к сожалениям, то ли к молодости, то ли к прошлому, к местам ушедшей, но не утраченной радости, к свежим снеговым полям, где мимо тебя, как юная лыжница, много раз пролетала несостоявшаяся любовь. Но не было ни тоски, ни тяжести в этих мимолетных потерях. Острый запах снега. Льды, ниспадающие с вершин как белый плащ, голубые на изломах. Над Накрой блистает золотая копейка солнца. Возвращение. Белые снеговые поля с черными точками лыжников. Две канатные дороги, идущие почти рядом, – однокресельная и двухкресельная. Поместному – «узкоколейная» и «парнокопытная». За восьмой опорой показывается легкий ветерок, даже не ветерок, а просто тянет из глубин донгузского ущелья. Северо-западная стена Донгуза, вечно в тени, похожа на рубку подводной лодки, обросшую сверху льдом. Я машинально просматриваю гребень, который прошел шестнадцать лет назад. Боже, как это было давно! Улицы нашего детства стали неузнаваемыми. Их перекрасили в другие цвета. Наши любимые заборы и глухие стены домов, о которые бились наши маленькие (за неимением больших) резиновые мячи, и слышалось то «штандр», то «два корнера – пеналь», сегодня снесены бульдозерами. Наше детство просто перемолото в траках бульдозеров. Любят ли наши дети разлинованные квадраты своих кварталов? Почитают ли они их своей родиной? Не знаю. Мы любили свои тихие тополиные дворы, мы чувствовали в них отечество. Только наши девочки, чьи имена мы писали мелом на глухих стенах, давно превратились в покупатель, клиенток и пассажиров с усталым взглядом и покатыми плечами. Пошли на тряпки наши старые ковбойки, просоленные потом наших спин, гордые латы рыцарей синих гор. Мы не видим себя. Все нам кажется, что вот мы сейчас поднимемся от зябкого утреннего костерка, от

похудевшей на рассветном холодке белой реки, шумящей между мрачноватых сырых елей, и пойдём туда, куда достаёт глаз. За зелёные ковры альпийских лугов. За жёлтые предперевальные скалы. За синие поля крутых снегов, к небу, к небу такому голубому, что кажется – можно его потрогать рукой и погладить его лакированную сферу. Но ничего этого не происходит. Есть другие дома, другие дворы, другие женщины, другие мы. И только гребень Донгуза стоит томно такой, каким он был шестнадцать лет назад. Это возвращение. Все-таки это возвращение.

...Наше кресло выползло за «плечо», за перегиб склона, и открылись верхние снежные поля Чегета, уходящие за гребень линии канаток, стеклянный восьмигранник кафе, чьи огромные зеркальные окна отбрасывали солнце. Здесь я обнаружил, что еду в кресле с Галей Кукановой из Внешторгбанка и поддерживаю с ней интенсивный разговор. Оказывается, в её представлении я был спортсменом, который «все время двигается».

– Ваша жизнь, – быстро и без всяких знаков препинания говорила она, – это солнце, снег, полет, волнения перед стартом, ведь правда? У людей нашей профессии работа исключительно сидячая, вот взять, к примеру, меня или Натку, даже пройтись некогда, после работы, метро, автобус, я живу в Ясенево, там наши дома, поэтому вырабатывается комплекс клерка, вы, конечно, слышали об этом, накапливается агрессивность, ну, конечно, мы ходим в дискотеку со светомузыкой, но это все не то, я решила в этом году, что, была не была, махну в горы, тем более что по студенческому билету, правильно, Павел Александрович?

– Конечно, – успел вставить я.

– Мне так к лицу загар, вы себе не представляете, так хочется все забыть, и неприятности в личной и в общественной жизни, я снимаю три года подряд одну комнату в бухте бэтта у Геленджика, вы знаете, но это все не то, я представляю, как появлюсь в конторе, специально надену платье с белым воротничком отложным, чтобы оттенить загар, они там сдохнут.

Все это Галина Куканова выпаливала, точно направив свой несколько курносый нос в сторону солнца, то есть слегка отвернувшись от меня. И с закрытыми глазами.

Приехали. Я откинул штангу кресла и выпрыгнул на дощатый, с плоскими ледовыми островами помост. Повыше помоста у кафе стояло, сидело и валялось в самых разнообразных позах множество лыжников, «чайников», то есть туристов из санаториев «Кавминвод», приехавших на экскурсию в драповых пальто и шляпах, загорающих девиц и просто не очень больших любителей кататься. На крыше пристройки в кафе стояла какая-то фигура с длинными распущенными волосами, оборотясь лицом, естественно, к светилу. Я вздрогнул. Остановился, обдаваемый словесными ливнями неутомимой Галины Кукановой. Нет, слава богу, нет. Не она. Было бы просто замечательно встретить ее здесь.

Поднявшись к кафе, я внимательно рассмотрел девицу, так испугавшую меня. Я даже закурил от волнения. Извиняюсь. Никакого сходства с Лариской. Что мне в голову взбрело? Никакого сходства.

На большом дощатом помосте перед кафе, на так называемой палубе, я собрал свое войско и повел их на учебный склон. Как ни странно, мои гаврики оказались гораздо лучше, чем я предполагал. Слава Пугачев – тот вообще молодец, «плуг» у него железный, коряво, но пытается поворачивать «из упора». Отлично. Оба «реактивщика», бодрых, по моим наблюдениям, еще посла вчерашнего, решили «перескочить из феодализма в социализм», то есть осваивать сразу технику ведения параллельных лыж. Вывалились в снегу изумительно, насмешиив всех и всё более и более приобретая трезвость. Супруги Уваровы – потихонечку, полегонечку, он очень трогательно опекал ее и жутко волновался, когда она падала. Галя Куканова больше заботилась о загаре. Барабаш требовал, чтобы я объяснил ему «физику процесса», и я довольно подробно объяснил ему, что происходит при переносе тяжести с одной лыжи на другую и как производить этот самый перенос. Но больше всем меня удивила Елена Владимировна Костецкая, редактор телевидения, 26 лет. Мало того, что она имела свое собственное и довольно приличное снаряжение, она и неплохо каталась. При этом совершенно не показы-

вала своего опыта, а очень аккуратно проделывала все самые элементарные упражнения. Я ей сказал, что могу перевести ее в другую группу, к «катальщикам», где ей будет интересней, но она отказалась, сказав, что она, правда, была уже здесь, но очень давно. Ну, когда в двадцать шесть лет говорят «очень давно», то наверняка речь идет о предыдущем романе.

Пока я разговаривал с Еленой Владимировной, внезапно меня посетило некое состояние, в котором мне – совершенно ясно, но неведомо откуда – открылось все об этой молодой женщине. Вдруг я понял, что она приехала сюда, в горы, для того, чтобы пересидеть развод, размолвку, а то и трагедию. Она надеялась уйти от своей памяти, уйти от себя. Как, собственно говоря, и я. Неожиданно мой мозг, без всякой на то моей воли, быстро и четко спрограммировал наши будущие отношения. Мы дурачимся и танцуем в баре. Потом медленно идем под высоченными соснами баксанской дороги, под несказанно звездным небом, и на чегетской трассе где-то очень высоко лежит серебряный браслет кафе. Она говорит о своем бывшем муже или любовнике в прошлом времени, как о покойнике. «Он был ужасный эгоист. Он был эгоистом даже в своей любви». Она прижимается ко мне. Мы целуемся. Я ощущаю слабый запах табака и вина. Потом мы, не сговариваясь, быстро и молча идем к гостинице. Потом несколько вечеров я рассказываю ей о своих приключениях. О, она осуждает Ларису! Потом она садится в автобус, и я понимаю, что тоска в ее глазах не оттого, что она прощается со мной, а оттого, что она возвращается к своим проблемам, никак их не решив. «Ты хоть позвонишь мне в Москве?» – спрашивает она. «Да, конечно», – отвечаю я. Автобус уезжает. Нет, это не для меня.

– Елена Владимировна, – сказал я, – вы все-таки подумайте над моим предложением. Пару дней можете позаниматься у меня, а потом я могу перевести вас к «катальщикам».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.